

Сергей ДОРЕНКО: Я заскочил сюда на минуточку

— Один знающий человек уверял меня, что никто на телевидении не работает столько, сколько Доренко. Какой же у вас рабочий день?

— Обычный — 12 часов, напряженный — 14.

— Сейчас 10 утра. В это время вы уже знаете тему выпуска?

— Точно не знаю никогда. Есть нормальное новостное планирование, но в любой момент может возникнуть какая-то кричащая, сегодняшняя тема, и все планы полетят. Это как взрыв. Вот сидят люди: один ногой качает, второй чай пьет, третий газету читает. Вдруг поступает некое важное сообщение. И они включаются даже не через несколько минут, а в две секунды. Кто-то хватается за телефоны, кто-то кидается к машине и мчится к нашим «источникам»... И уже через очень короткое время к нам начинает стекаться нужная информация. Потом мы садимся и очень быстро проговариваем суть проблемы и возможные версии. Примерно через час после «взрыва» ситуация уже более или менее ясна.

Конечно, если новость поступает, например, в шесть вечера, мы можем не успеть проделать всю эту работу или сыскать нужных для съемки людей. Но все равно мы подьем на уши всю Москву и добудем максимум информации, чтобы хоть четыре минуты в выпуске посвятить теме дня.

— И часто случаются такие авралы?

— В хорошие недели, когда жизнь клочочет, из наших заготовленных нетленок остается одна-две. Программа ведь и задумывалась как мгновенный отклик на события дня. Хотя в свое время, когда я еще ходил по начальникам со своими записками сумасшедшего, в смысле — с предложением такого цикла, они очень сомневались, можно ли это осуществить. А теперь, видите, жанр прижился. Даже на НТВ, говорят, собираются сделать нечто подобное.

— Тут ведь еще одна проблема возникает: как количество скажется на качестве? Можно ли всегда оставаться компетентным, оперативно анализируя десятки тем? Нет ли опасности исчерпать свои «запасы» до дна?

— Если бы я был человеком, который рассуждает о судьбах человечества и содзает какие-то большие, серьезные произведения, тогда можно было бы сказать: «Старик, а что ты будешь делать, когда все скажешь?» Но я же не о сокровенном говорю, не уговариваю зрителя. Я просто анализирую конкретные события. Это только метод, новостной метод. Как он может себя исчерпать?

— Помню, в прошлом году вы мне говорили, что исповедуете объективизм. Теперь, в «Версиях», этот принцип порой нарушается. Вы стали более пристрастным, эмоциональным, вы подчеркиваете свою позицию...

— Я знаю, что пошел на нарушение своего принципа. Мой жанровый ригоризм сломал Буденновск. Вы не можете оставаться бесстрастным и не протестовать самым энергичным образом, когда грубо нарушается базовая, общечеловеческая мораль. И мы были пристрастны, когда в течение недели призывали к ответу негодаев, допустивших этот рейд. Но и до, и после Буденновска я все-таки старался следовать своему принципу и не принимать чью-то сторону.

— Я имела в виду не только эти сюжеты. Резкие выпады, «жестокая» ирония, так вам свойственные в последнее время, тоже не очень вяжутся с бесстрастностью.

— Тут вот что: в пятнадцатиминутных «Версиях» доля интервью, естественно, выше, чем в девятиминутных «Подробностях». А в интервью у меня роль человека слегка наивного, во всем сомневающегося и тем самым создающего некий конфликт в диалоге. Иначе не интересно — если это, конечно, не разговор влюбленных, что в моем

Как считает сам Доренко, его «Версии» смотрят очень разные люди: одни — сворачивая в это время красное знамя, другие — оторвавшись от чтения Эриха Фромма, третьи — собирая чемоданы, чтобы уехать из страны навсегда...

Им возмущаются: злой, экстравагантный, самоуверенный. Ему аплодируют: умница, профессионал, блестящий аналитик. Но независимо от той или этой версии, «другой альтернативы» ему на 1-м канале нет.

Сергей ИВАНОВ



случае было бы странно. Интервью в том и заключается, что человек должен опробовать свою позицию о препятствии, каким и является сомнение журналиста. Когда-то я занимался боксом, и напарник на тренировках кидал в меня теннисные мячи, а я должен был уворачиваться, иначе он попал бы мне в лоб. Что, он делал это из злости? Нет, он просто проверял мою реакцию. Так же и тут.

— Вы меня почти убедили. Но вот мне вспомнился еще один выпуск, где вы обещали с депутатами ситуацию вокруг ОРТ, и, создавая впечатление, защищали свою телекомпанию.

— Ну да: если депутаты против ОРТ, а я задаю им вопросы, значит, я — за ОРТ. А я просто в течение сорока минут (в эфире осталось пятнадцать) пытался добиться: чего же хотят господа депутаты? ОРТ — компания президентская, но и «Останкино» тоже было президентским. Так значит, они хотят передать 1-й канал от президента президенту же? Ничего путного я не услышал. Их позиция была сырой, вот и все. А до ОРТ мне вообще дела нет. Я там не вхож ни в какие начальственные кабинеты. И телевидение вижу как телевидение вообще. У меня нет командной солидарности вне моей бригады, с которой я работаю над выпусками.

— А на каких же условиях вы пришли в ОРТ?

— Я вообще никогда не приходил на ОРТ.

— Разве «Версии» выходят не на 1-м канале, через посредство РенТВ?

— Да, но опосредованность настолько высокая, что к ОРТ я не имею никакого отношения. Зачем оно вещает — не моего ума дело. Я

вообще на телевидении человек случайный, посторонний.

— То есть?

— Я оказался здесь так, для разнообразия, просто чтобы попробовать себя. Занимался телевизионным бизнесом, потом стал работать как журналист на западные компании. И чудно себя чувствовал. Кстати, я и сейчас — московский корреспондент испанской службы новостей Си-Эн-Эн.

— Но вы же заняты весь день?

— Да, а ночью, в двенадцать я делаю для них материалы и комментарии. Стараясь отлынивать, но когда происходят бурные события, приходится и там работать ежедневно.

Так вот, в свое время мне показалось забавной идея, что можно обсуждать вопросы внутренней политики и на нашем телевидении. Но после литовских событий 91-го года я понял, что был дураком, и простился с этой профессией.

— И четыре года продолжаете ею заниматься?

— Я просто заскочил на ТВ еще раз, на минуточку. Но для себя давно решил, что меня «увольнили вчера». Причем меня это совершенно не трогает, потому что я, как кошка, падаю на четыре лапы. Всегда. И когда мне говорят: а не убраться ли нам тебя с этого канала? — я говорю: ура, давайте, я буду делать шоу с девочками в коротких юбочках.

— А правда, могли бы сделать профессиональное шоу?

— Конечно!

— А чего бы вы не могли сделать на ТВ?

— То, чего не смогу полюбить. Любое дело — если ты его любишь и относишься к нему с нежностью — отвечает тебе взаимностью. Без любви будет горшок, а с любовью

будет ваза. Если я смогу дать понять моей новой программе, что я ее люблю, то, конечно, буду успешен.

— Ага, значит, все-таки вы «Версии» любите.

— Я давно уже в отчаянии, что придется это дело бросить. Но объективно мою программу надо закрыть, и будь я на месте руководителей ОРТ, обязательно бы это сделал. Им нужен журнализм прямой и безотказный, как трехлинейка времен англо-бурской войны. Я не соответствую.

— Ну, для начала можно попытаться дать вам установку: сюда нельзя, держитесь вот в таких рамках...

— Я не могу выполнять поручения или установки. Если мне сказать: походи, брось гранату, или: сбегай за сигаретами, — я пойду домой и никогда не вернусь. Есть другой вариант: сделать меня членом политической команды. Такие беседы со мной ведутся. Поскольку руководители ОРТ люди умные, я им пытаюсь объяснить: «Господа, я журналист, вы политики. Если нас с вами поведут на расстрел, вы будете думать, как вам избежать расстрела и победить, а я — как поставить камеру на лучшую точку. Вот в чем разница между нами. Моя работа сорочья. Сорока кричит, когда медведь или охотник входят в лес. Зачем? Вель она же могла сыграть в партии медведя или охотника? Нет, ей это до лампочки. Она узнала новость и должна о ней сообщить. Поэтому, чтобы вас не расстраивать, давайте я уйду из политической журналистики». Они сомневаются: а вдруг он обманет и перейдет к нашим конкурентам? А можно ли убраться его тихо, чтобы никто не расценил это как политические репрессии? Им же не хочется выглядеть душителями свободы. Вот так мы все вместе пытаемся меня убраться, и никак не удается.

— Говорят, и Черномырдин этого требовал, после того как вы сказали, что, по слухам, премьеру был вшит сердечный клапан? Ему доложили, что это было подано как факт, а не как версия.

— Да, и как нормальный мужик, он был этим огорчен. Но потом, в разговоре со мной, он сожалел о суетливости холуев, которые его огорчение истолковали как сигнал «фас». А вообще, должен сказать, Виктор Степанович удивил меня своей непосредственностью. В интервью я давал ему возможность уклониться от острых вопросов — он ею не воспользовался. Такая искренность, безусловно, работает на его имидж. Хотя вряд ли он это понимает. У нас ведь по части создания имиджей — полный караул. Например, интуитивно очень точно работает Лужков, но сам в себе этого не ценит. Обиделся, когда мы показали, как он прыгает через бетонный парапет, хотя лучшего кадра не придумал бы ни один имиджмейкер.

— В целом политики явно не вызывают у вас теплых чувств...

— Нет, почему? Я их страшно люблю, порой скучаю по ним. Многие из них напоминают волчонка, который хочет казаться маленьким лебедем. Напрасно! Я предлагаю им не стыдиться своего естества. У них такая красная шерсть, такие отличные клыки...

— Ваша версия — что ждет нас в ближайшем будущем?

— Олигархически-номенклатурный капитализм с сильными элементами патернализма. Это общество может быть очень успешным и стабильным, поскольку сама модель органична для России. Раз она просуществовала века, почему бы ей не продержаться еще столь же долго?

— А себя вы в каком качестве видите в будущем?

— Я знаю одно: моя функция — кормить семейство. И «косить», отлынивать от нее я не собираюсь.